

# Глава 2.

## Противозаконности и делинкветность

С точки зрения закона заключение вполне может быть только лишением свободы. Но исполняющее эту функцию содержание в тюрьме всегда предполагало некий технический проект. Переход от публичной казни с ее впечатляющими ритуалами, с ее искусством, неотрывным от церемонии причинения боли, к тюремному наказанию, сокрытому за мощными стенами архитектурных сооружений и охраняемому административной тайной, не является переходом к недифференцированному, абстрактному и неясному наказанию; это переход от одного искусства наказывать к другому, не менее тонкому. Техническая мутация. Некий симптом и символ его – замена в 1837 г. цепочки каторжников тюремным фургоном.

Караваны скованных общей цепью каторжников – традиция, восходящая к эпохе галерных рабов, – сохранялись еще при Июльской монархии. Значительность цепи каторжников как зрелища, восходящая к началу XIX века, связана, возможно, с тем обстоятельством, что здесь в одном проявлении объединялись два вида наказания: сам путь к месту заключения разворачивался как церемониал пытки[477]. Рассказы о «последних цепях» – тех, что бороздили Францию летом 1836 г., – и связанных с ними скандальных происшествий позволяют нам воссоздать сие действо, столь чуждое правилам «пенитенциарной науки». Оно начиналось с ритуала, исполняемого на эшафоте: с заковывания в железные ошейники и цепи во дворе тюрьмы Бисетр. Каторжника укладывали затылком на наковальню, словно на плаху; но на этот раз мастерство палача заключалось в том, чтобы нанести удар, не разможив голову, – мастерство, противоположное обычному: умение ударить, не убив. «В большом дворе тюрьмы Бисетр выставлены орудия пытки: несколько рядов цепей с ошейниками. Artouprans (начальники стражи), ставшие на время кузнецами, приготавливают наковальню и молот. К решетке стены вокруг прогулочного двора прижались угрюмые или дерзкие лица тех, кого сейчас будут заковывать. Выше, на всех этажах тюрьмы, виднеются ноги и руки, которые свешиваются сквозь решетки камер, словно на базаре, где торгуют человеческой плотью: это заключенные, которые хотят присутствовать при “одевании” вчерашних сокамерников... Вот и последние, само воплощение жертвенности. Они сидят на земле парами, подобранными случайно, по росту. Цепи, которые им предстоит нести, весом 8 фунтов каждая, тяжелым грузом лежат у них на коленях. Палач производит смотр, обмеривает головы и надевает на них массивные ошейники толщиной в дюйм. В заклепке участвуют три палача: один держит наковальню, другой соединяет две части железного ошейника и, вытянув руки, оберегает голову жертвы, а третий в несколько ударов молота

расплющивает болт. При каждом ударе голова и тело вздрагивают... Правда, никто не думает об опасности, грозящей жертве, если молот скользнет в сторону. Мысль об этом сводится на нет или, скорее, заслоняется глубоким ужасом, внушаемым созерцанием твари Божьей в столь униженном состоянии»[478]. Это действие имеет также смысл публичного зрелища. Согласно «Gazette des tribunaux», свыше 100 000 человек наблюдали 19 июля уход цепи из Парижа. Порядок и богатство пришли поглазеть на проходящее вдалеке огромное племя кочевников, закованное в цепи, на другой род, на «чуждую расу, привилегированное население каторг и тюрем»[479]. Зеваки-простолюдины, словно во времена публичных казней, предаются двусмысленному общению с осужденными, обмениваясь с ними оскорблениями, угрозами, словами одобрения, пинками, знаками ненависти или солидарности. Возникающее неистовство сопровождает процессию на всем ее прохождении: гнев против слишком строгого или слишком снисходительного правосудия, возгласы против ненавистных преступников, жесты сочувствия узникам, которых узнают и приветствуют, столкновения с полицией: «На всем пути от заставы Фонтенбло группы одержимых выпускали негодующие вопли против Делаколлонжа: “Долой аббата, – возглашали они, – долой мерзавца! Пусть получит по заслугам”. Если бы не энергия и твердость городской гвардии, быть бы серьезным беспорядкам. На Вожираре больше всего бушевали женщины. Они кричали: “Долой дурного священника! Долой монстра Делаколлонжа!” Комиссары полиции Монружа и Вожирара и несколько мэров с помощниками в развевающихся шарфах примчались, чтобы обеспечить выполнение приговора. На подходах к Исси Франсуа, завидев господина Алара и его полицейских, швырнул в них деревянную миску. Тут вспомнили, что семьи некоторых прежних товарищей этого осужденного живут в Иври. Тогда полицейские инспектора рассредоточились вдоль всей цепи и плотно обступили телегу каторжников. Заключение из Парижа стали бросать миски в головы полицейским, и кое-кто попал в цель. В этот момент по толпе пробежало сильное волнение. Началась драка»[480]. По пути цепи от Бисетра до Севра многие дома были разграблены[481].

В этом празднестве отбывающих заключенных есть отзвук обрядов, связанных с «козлом отпущения», которого прогоняют и колотят, есть нечто от праздника дураков, где все меняются ролями, нечто от старых эшафотных церемоний, где истина должна воссиять при ярком свете дня, и нечто от тех народных зрелищ, в которых фигурируют знаменитые персонажи и традиционные типы: игра истины и бесчестья, парад славы и унижения, брань в адрес разоблаченных преступников, а с другой стороны – радостное признание в преступлениях. Стараются узнать лица преступников, снискавших славу. Раздают листки с описанием преступлений, совершенных проходящими каторжниками. Газеты заранее сообщают их имена и подробно повествуют об их жизни, иногда указывают приметы преступников и описывают их платье, чтобы они не остались неузнанными: это своего рода театральные программки[482]. Бывает, люди приходят для того, чтобы изучить различные типы преступников, пытаются определить по одежде или лицу «специальность» осужденного, узнать, убийца он или вор: идет игра в маскарад и куклы, которая является также, для более образованного взгляда, своего рода эмпирической этнографией преступления. От зрелищ на подмостках до френологии Галля: люди, принадлежащие к разным слоям общества, практически осваивают семиотику преступления: «Физиономии столь же разнообразны, сколь и одежда: тут величественный лик, тип Мурильо[483], там – порочное лицо, окаймленное густыми бровями, которые передают всю энергию

законченного злодея... Вот голова араба выдается на мальчишеском теле. Вот мягкие, женственные черты – это сообщники. Вот лоснящиеся и развратные лица – это учителя»[484]. На игру откликаются сами осужденные, выставляя напоказ свои преступления и злодеяния. Такова одна из функций татуировки, повествующей об их делах или судьбе: «Они сообщают нечто посредством знаков на теле: это либо изображение гильотины на левой руке, либо татуированный на груди кинжал, пронзивший окровавленное сердце». Проходя, они жестами изображают совершенные ими преступления, насмеваются над судьями и полицией, хвастаются нераскрытыми злодеяниями. Франсуа (бывший сообщник Лансенера) рассказывает, что придумал способ убить человека без малейшего вскрика и капли крови. У грандиозной бродячей ярмарки преступлений есть свои фигляры и маски: комическое утверждение истины является ответом на любопытство и брань. Тем летом 1836 г. разыгрывались сцены, связанные с Делаколонжем: он разрезал на куски беременную любовницу, и его преступление произвело огромное впечатление, поскольку он был священником. Тот же сан спас его от эшафота. Кажется, он возбудил сильную ненависть в народе. Еще раньше, в июне 1836 г., когда его везли в телеге в Париж, он подвергался оскорблениям и не мог сдержать слез. Однако он отказался от закрытого фургона, поскольку считал, что унижение – часть наказания. При выезде из Парижа «толпа зашла в добродетельном негодовании и моральном гневе, обнаружив всю свою неслыханную низость. Его закидали землей и грязью. Разъяренная публика осыпала его градом камней и ругательств... Это был взрыв небывалого бешенства. Особенно женщины, сущие фурии, выказывали неимоверную ненависть»[485]. Чтобы защититься от толпы, его переодели. Некоторые зрители ошибочно приняли за него Франсуа. Тот поддержал игру и вошел в роль. Он изображал не только преступление, коего не совершал, но и священника, коим никогда не был. К рассказу о «своем» преступлении он приплел молитвы и широким жестом благословлял глумящуюся толпу. В нескольких шагах от него настоящий Делаколонж, «казавшийся мучеником», переживал двойной позор. Он выслушивал оскорбления, бросаемые не ему, но адресуемые ему, и насмешки, которые в лице другого преступника воскрешали священника, коим он был, но хотел бы это скрыть. Страсть его разыгрывалась перед ним фигляром-убийцей, с которым он был связан одной цепью.

Цепь приносила праздник во все города, где она проходила. Это была вакханалия наказания, наказание, превращенное в привилегию. И в согласии с весьма любопытной традицией, которая, кажется, не была нарушена обычными ритуалами публичной казни, наказание вызывало у осужденных не столько обязательные признаки раскаяния, сколько взрыв безумной радости, отрицавшей наказание. К украшению из ошейника и цепи каторжники сами добавляли ленты, плетеную солому, цветы или дорогое белье. Караван каторжников – хоровод и пляска; но также совокупление, вынужденный брак, когда любовь запрещена. Свадьба, праздник и ритуал в цепях. «Волоча за собой цепи, они бегут с букетами в руках, с лентами и соломенными кисточками на колпаках, самые искусные – в шлемах с гребнем... Другие надели сабо и ажурные чулки или модные жилеты под рабочую блузу»[486]. Вечер напролет после заковывания в кандалы «цепь» безостановочно кружилась во дворе тюрьмы Бисетр в огромном хороводе: «Плохо приходилось охранникам, если каторжники их узнавали: их окружали и втягивали в кольца. Заключенные оставались хозяевами поля битвы до наступления темноты»[487]. Своими пышными празднествами шабаш осужденных вторил церемониалу правосудия. Он был противоположен великолепию, порядку власти и ее признакам, формам наслаждения. Но в нем слышался отзвук

политического шабаша. Только глухой не различил бы этих новых интонаций. Каторжники распевали походные песни, быстро становившиеся знаменитыми и повторявшиеся повсюду еще долгое время спустя. В них явственно звучало эхо жалобных причитаний, которые в листках приписывались преступникам, – подтверждение преступления, зловещее превращение преступников в героев, напоминание об ужасных наказаниях и окружающей преступников всеобщей ненависти: «Пусть славу нашу возглашают трубы... Мужайтесь, ребята, бесстрашно подчинимся нависшей над ними ужасной судьбе... Кандалы тяжелы, но мы выдержим. Ни один голос не поднимется в защиту осужденных и не скажет: избавим их от страданий». И все же в этих коллективных песнях была совершенно новая тональность. Моральный кодекс, выражаемый в большинстве старинных жалобных песен, был совсем иной. Теперь пытка обостряет гордость, вместо того чтобы вызывать раскаяние. Вынесенный приговор правосудие отвергается. Толпа, пришедшая увидеть ожидаемое ею раскаяние или позор, подвергается хуле: «Вдали от семейного очага мы порой стонем. Но нет страха на челе. Наши хмурые лица да заставят побледнеть судей... Жадные до несчастья, ваши взгляды ищут среди нас клеймённых, плачущих и униженных. Но наши глаза сияют гордостью». В этих песнях можно найти и утверждение, что в каторжной жизни с ее товариществом и дружбой есть радости, неведомые на свободе. «Со временем придут радости. За засовами настанут дни веселья... Радости – перебежчицы: они сбегут от палачей и последуют туда, куда манят песни». А главное, нынешний порядок не вечен. Осужденные освободятся и обретут свои права, больше того: обвинители займут их место. Близок судный день, когда преступники станут судить своих судей. «Презрение людей обращено на нас, осужденных. Золото, которому они поклоняются, тоже наше. Однажды оно перейдет в наши руки. Мы купим его ценой жизни. Другие наденут цепи, которые вы заставляете нас влачить; они станут рабами. Мы разорвем путы, и воссияет звезда свободы. Прощайте, нам не страшны ни ваши цепи, ни ваши законы»[488]. Изображаемый газетенками благочестивый театр, где осужденный заклинал толпу никогда не следовать его примеру, становится угрожающей сценой, где толпу призывают сделать выбор между жестокостью палачей, несправедливостью судей и несчастьем осужденных, которые сегодня повержены, но однажды восторжествуют.

Грандиозное зрелище кандалной цепи было связано с древней традицией публичных казней, а также с многочисленными представлениями преступления, устраиваемыми газетами и газетенками, ярмарочными зазывалами и бульварными театрами[489]. Но оно было связано и с борьбой и сражениями, первый гул которых оно доносило. Оно давало своего рода символическую развязку: побежденная законом, армия беспорядка обещает вернуться. То, что было выдворено грубой силой порядка, опрокинет порядок и принесет свободу. «Я ужаснулся, увидев, сколько искр сверкает в этих углях»[490]. Ажиотаж, всегда сопровождавший публичные казни, теперь повторяется в «адресных» угрозах. Понятно, что Июльская монархия решила отменить кандалные шествия по тем же – но еще более веским – причинам, что вызвали в XVIII веке отмену публичных казней: «Наша мораль не допускает такого обращения с людьми. Не следует давать в городах, где проходит колонна каторжников, столь отвратительное представление, которое, во всяком случае, ничему не учит население»[491]. Итак, необходимо порвать с публичными ритуалами, подвергнуть передвижения осужденных тому же изменению, что претерпели и сами наказания, скрыть их под покровом административной стыдливости.

Однако в июне 1837 г. караван каторжников заменили не простой крытой повозкой, о которой одно время подумывали, а детально разработанной машиной. Фургоном, представляющим собой тюрьму на колесах. Передвижным эквивалентом паноптикона. Центральный коридор разделяет фургон по всей длине. С каждой стороны коридора имеется шесть камер, где заключенные сидят лицом к коридору. Их ступни помещаются в кольца с шерстяной подкладкой, соединенные между собой цепями толщиной 18 дюймов. Ноги зажаты в металлические наколенники. Осужденный сидит на «своего рода трубе из цинка и дубового дерева, которая опорожняется прямо на дорогу». В камере нет ни одного окна наружу, вся она обшита листовым железом. Только форточка, представляющая собой просверленную в железе дыру, пропускает «достаточное количество воздуха». В выходящей в коридор двери каждой камеры проделано окошечко из двух половинок: одна служит для передачи пищи, а другая – зарешеченная – для надзора. «Окошечки открываются и расположены под наклоном, что позволяет надзирателям непрестанно видеть заключенных и слышать малейшее их слово, тогда как сами заключенные не могут ни видеть, ни слышать друг друга». Таким образом, «в одном и том же фургоне можно без всякого неудобства везти каторжника и простого подследственного, мужчин и женщин, детей и взрослых. Сколько бы ни длился путь, все будут доставлены к месту назначения, не увидев друг друга и не обменявшись ни словом». Наконец, постоянный надзор, осуществляемый двумя охранниками, которые вооружены дубинками «с толстыми притупленными гвоздями», позволяет применять систему наказаний в соответствии с внутренним распорядком фургона: один хлеб и вода, наручники, отсутствие подушки для сна, цепи на обеих руках. «Любое чтение, кроме нравоучительных книг, запрещено».

Уже одной своей мягкостью и быстротой эта машина «сделала бы честь доброте своего изобретателя». Но ее достоинство состоит в том, что она – настоящий тюремный фургон. В ее внешнем воздействии – поистине бентамовское совершенство: «В быстрой езде этой тюрьмы на колесах – на глухих и темных боках коей различима только одна надпись: “Перевозка каторжников”, – есть нечто загадочное и мрачное (чего и требовал Бентам от исполнения уголовных приговоров), оставляющее в сознании зрителей более благотворное и длительное впечатление, чем вид этих циничных и веселых пассажиров»[492]. Но производится и внутреннее воздействие: даже если путешествие продолжается всего несколько дней (и узников ни на миг не отвязывают), фургон действует как исправительная машина. Заключенный выходит из него удивительно послушным: «В моральном отношении эта перевозка, занимающая не более трех суток, – ужасная пытка, и ее воздействие на заключенного, видимо, сохраняется еще долго». Так считают и сами заключенные: «В тюремном фургоне, если не спишь, остается только думать. Думая, я начинаю сожалеть о содеянном. Понимаете, в конце концов я начинаю бояться, что исправлюсь»[493].

Скудна история тюремного фургона. Но то, каким образом он заменил цепь каторжников, и причины этой замены резюмируют процесс, в ходе которого в течение восьмидесяти лет тюремное заключение – как продуманный метод изменения индивидов – сменило публичные казни. Тюремный фургон есть машина реформы. Публичную казнь заменили не массивные стены, а тщательно координированный дисциплинарный механизм, по крайней мере в принципе.



Ведь тюрьму в ее реальности и очевидных следствиях сразу объявили великой неудачей уголовного правосудия. Весьма странным образом история заключения не позволяет говорить о хронологии, в которой чинно следовали бы друг за другом введение тюремного заключения, затем признание провала этой формы наказания; далее медленное развитие проектов реформы, которые должны были бы привести к более или менее связному определению пенитенциарной техники; затем практическая реализация этого проекта; наконец, констатация его успеха или неудачи. На самом деле имело место столкновение или, по крайней мере иное распределение этих элементов. И точно так же как проект исправительной техники следовал за принципом карательного заключения, критика тюрьмы и ее методов началась очень рано, в те же 1820–1845 гг.; да и выражалась она в ряде формулировок, которые – если не считать цифр – почти без изменений повторяются по сей день.

– Тюрьмы не снижают уровень преступности. Тюрьмы можно расширить, преобразовать, увеличить их количество, но число преступлений и преступников остается стабильным или, хуже того, возрастает: «Во Франции насчитывается примерно 108 000 индивидов, находящихся в состоянии чудовищной враждебности к обществу. Имеются следующие меры их подавления: эшафот, ошейник, 3 каторги, 19 центральных тюрем, 86 домов правосудия[494], 362 арестантских дома, 2800 кантональных тюрем, 2238 камер предварительного заключения в жандармских участках. Несмотря на все это, порок не знает удержу. Число преступлений не снижается... а число рецидивистов скорее возрастает, чем сокращается»[495].

– Тюремное заключение порождает рецидивизм. У освободившихся из тюрьмы гораздо больше шансов туда вернуться, чем у тех, кто не сидел. Подавляющее большинство осужденных – бывшие заключенные. 38 % освободившихся из центральных тюрем были осуждены вновь, а 33 % из них отправлены на каторгу[496]. В 1828–1834 гг. из почти 35 000 осужденных за преступления около 7400 были рецидивистами (т. е. один рецидивист на 4,7 осужденных), более чем из 200 000 мелких преступников свыше 35 000 тоже были рецидивистами (один из 6), итого в среднем – один рецидивист на 5,8 осужденных[497].

В 1831 г. из 2174 осужденных за повторные преступления 350 побывали на каторге, 1682 – в центральных тюрьмах, а 142 – в исправительных домах с тем же режимом, что и в центральных тюрьмах[498]. И диагноз стал еще более неблагоприятным во время Июльской монархии: в 1835 г. насчитывается 1486 рецидивистов из 7223 осужденных по уголовным делам. В 1839 г. – 1749 из 7858, в 1844 г. – 1821 из 7195. Из 980 заключенных в Лоосе[499] 570 были рецидивистами, а в Мелене – 745 из 1088[500]. Значит, вместо того чтобы выпускать на свободу исправленных индивидов, тюрьма распространяет в населении опасных делинквентов: «7000 человек возвращаются ежегодно в общество... Это 7000 первопричин преступлений и разложения, распространяемых по всему общественному телу. А как подумаешь, что все это население постоянно возрастает, что оно живет и бурлит вокруг нас, готово ухватиться за любой повод к беспорядку и воспользоваться малейшим кризисом в обществе, чтобы испытать свои силы, – можно ли оставаться безучастным к

такому зрелищу?»[501]

– Тюрьма не может не производить делинквентов. Она делает это посредством самого образа жизни, который навязывает заключенным: сидят ли они в одиночных камерах или выполняют бесполезную работу (требующую навыков, которым впоследствии не найдется применения), – в любом случае здесь не «думают о человеке в обществе, создают противоестественную, бесполезную и опасную жизнь». Тюрьма должна воспитывать заключенных, но разумно ли, чтобы система воспитания, обращенная к человеку, действовала против намерений природы?[502] Тюрьма производит делинквентов также потому, что грубо принуждает узников. Предполагается, что тюрьма исполняет законы и учит уважать их, но вся ее деятельность протекает в форме злоупотребления властью. Произвол администрации: «Чувство несправедливости, переживаемое заключенным, – одна из причин, способных сделать его характер неукротимым. Поняв, что испытывает страдания, не предписанные и даже не предусмотренные законом, он безнадежно озлобляется против всего окружающего. В любом представителе власти он видит лишь палача. Он уже не думает, что виновен: он обвиняет правосудие»[503]. Разложение, страх и некомпетентность охранников: «От 1000 до 1500 заключенных живут под надзором 30—40 надзирателей, которые могут сохранить какую-то безопасность, лишь опираясь на доносчиков, т. е. на испорченность, которую они сами же заботливо сеют. Кто они, эти охранники? Отставные солдаты, люди, которым не объяснили, как надлежит исполнять порученную им задачу, которые считают охрану злодеев своим ремеслом»[504]. Эксплуатация посредством принудительного труда, который в этих условиях не может носить воспитательного характера: «Выступают против работорговли. А разве наши заключенные не продаются предпринимателями, словно негры, и не покупаются производителями... Так-то мы преподаем заключенным уроки порядочности? Не развращают ли их еще больше эти примеры отвратительной эксплуатации?»[505]

– Тюрьма делает возможной и даже поощряет организацию среды делинквентов, солидарных друг с другом, признающих определенную иерархию и готовых к сообщничеству в любом будущем преступлении: «Общество запрещает объединения, насчитывающие свыше 20 человек... а само образует союзы из 200, 500, 1200 заключенных в центральных тюрьмах, которые оно возводит ad hoc[506] и для пущего удобства подразделяет на мастерские, внутренние дворы, спальни, общие столовые... Общество умножает число тюрем по всей Франции, и таким образом, где есть тюрьма, там есть объединение заключенных... а значит, антиобщественный клуб»[507]. И в этих «клубах» получает воспитание впервые осужденный молодой правонарушитель: «Первое желание, которое у него возникнет, – научиться у ловких старших умению ускользать от строгости закона. Первый урок он извлечет из жестокой логики воров, считающих общество врагом. Его моралью станут наущничество и шпионаж, столь почитаемые в наших тюрьмах. Его первой страстью будет напугать юную натуру мерзостями, которые рождаются в темнице и не поддаются описанию... Отныне он порывает со всем, что связывало его с обществом»[508]. Фоше говорил о «казармах преступления».

– Условия, в которых оказываются освободившиеся узники, обрекают их на повторение преступления: они находятся под надзором полиции, им предписывают место жительства и запрещают проживание в определенных местах, они «выходят из тюрьмы с паспортом,

который должны предъявлять повсюду и где фиксируется вынесенный им приговор»[509]. Неприкаянность, невозможность найти работу и бродяжничество – наиболее частые факторы, приводящие к рецидиву. «Gazette des tribunaux», как и рабочие газеты, регулярно сообщает о случаях повторных преступлений. Так, одного рабочего, осужденного за воровство и находящегося под надзором в Руане, снова поймали на краже, причем адвокаты отказались его защищать. Поэтому он решил выступить в суде сам, рассказал историю своей жизни, объяснил, что, выйдя из тюрьмы и будучи вынужден жить в строго определенном месте, он не смог вернуться к ремеслу золотильщика, поскольку его гнали отовсюду как бывшего заключенного. Полиция отказала ему в праве искать работу в других местностях. Он оказался прикованным к Руану и умирал от голода и нищеты из-за этого ужасного надзора. Тогда он пришел в мэрию и попросил, чтобы ему нашли работу. Восемь дней он работал на кладбищах за 14 су в день. «Но, – сказал он, – я молод, у меня хороший аппетит, я съедаю больше двух фунтов хлеба в день, а один фунт стоит 5 су. Достаточно ли 14 су, чтобы питаться, стирать одежду и платить за жилье? Я впал в отчаянье. Я хотел снова стать честным человеком, но надзор сделал меня несчастным. Я почувствовал отвращение ко всему. Тут я познакомился с Лемэтром, который тоже нищенствовал. Надо было жить, и к нам вернулись дурные мысли о воровстве»[510].

– Наконец, тюрьма косвенно производит делинквентов, ввергая в нищету семью заключенного: «Тот самый приговор, что отправил главу семейства в тюрьму ежедневно обрекает мать на лишения, детей – на заброшенность, всю семью – на бродяжничество и попрошайничество. Именно поэтому преступление может иметь продолжение»[511].

Надо заметить, что эта монотонная критика тюрьмы всегда принимала одно из двух направлений: говорили, что тюрьма недостаточно исправляет или что пенитенциарная техника пока пребывает в зачаточном состоянии. И еще: что, стремясь быть исправительной, тюрьма утрачивает свою силу как наказание[512], что истинная пенитенциарная техника – строгость[513], что тюрьма есть двойная экономическая ошибка: непосредственная – по причине собственной внутренней стоимости и косвенная – по причине стоимости делинквентности, которую она не пресекает[514]. Ответ на эти критические замечания был всегда одинаков: повторение неизменных принципов пенитенциарной техники. В течение полутора веков тюрьме всегда предлагали в качестве лекарства саму же тюрьму: возобновление пенитенциарных техник как единственное средство преодоления их вечной неудачи; осуществление исправительного проекта как единственный способ преодоления невозможности его осуществления.

В этом убеждает следующий факт: бунты заключенных, произошедшие в последние недели, объяснили тем, что реформы, предложенные в 1945 г., так и не дали реальных результатов. Поэтому мы должны вернуться к фундаментальным принципам тюрьмы. Но эти принципы, от которых сегодня все еще ожидают чудесных результатов, прекрасно известны: в течение последних 150 лет они составляют семь универсальных максим хорошего «пенитенциарного состояния».



Существенно важной функцией тюремного заключения является преобразование, поведения индивида: «Исправление осужденного как главная цель наказания – священный принцип, формальное введение которого в область науки и прежде всего в область законодательства происходит в последнее время» (Congrès pénitentiaire de Bruxelles, 1847). В мае 1945 г. тот же тезис точно повторяет комиссия Амора: «Наказание путем лишения свободы имеет своей главной целью изменение и социальную реабилитацию индивида». Принцип исправления.

2

Заклученные должны быть изолированы или по крайней мере распределены с учетом правовой тяжести деяния, но главное – возраста, наклонностей, применяемых методов исправления и стадий перевоспитания. «При использовании средств изменения индивидов должны учитываться серьезные физические и моральные различия между осужденными, степень их испорченности, неравные шансы на исправление» (февраль 1850 г.) И в 1945 г.: «Распределение в пенитенциарных учреждениях индивидов, приговоренных к небольшому сроку тюремного заключения (менее одного года), производится в соответствии с полом, личностью и степенью испорченности делинквента». Принцип классификации.

3

Должно быть возможным изменение наказания в зависимости от индивидуальности заключенных, достигнутых результатов, продвижения вперед или срывов. «Поскольку основная цель наказания – преобразование преступника, желательно, чтобы имела возможность освободить любого осужденного, чье моральное перерождение достаточно удостоверено» (Ch. Lucas, 1836 г.) И в 1945 г.: «Применяется прогрессивный режим... согласования обращения с заключенным с его установками и степенью исправления. Этот режим варьируется от одиночного заключения до полусвободы... Условное освобождение возможно при всех наказаниях, предусматривающих срок тюремного заключения». Принцип модуляции наказаний.

4

Работа должна быть одним из основных элементов преобразования и постепенной социализации заключенных. Тюремный труд «должен расцениваться не как дополнение или некое утяжеление наказания, но как смягчение, которого заключенный уже не может лишиться». Он должен обучиться ремеслу, чтобы обеспечить себе и своей семье источник дохода (Ducpétiaux, 1857). 1945 г.: «Любой осужденный по нормам общего права обязан работать... Ни один заключенный не должен оставаться незанятым». Принцип работы как обязанности и права.

5

Воспитание заключенного с точки зрения государственной власти есть необходимая предосторожность в интересах общества и обязанность по отношению к заключенному. «Только воспитание может служить пенитенциарным инструментом. Вопрос исправительного заключения есть вопрос воспитания» (Ch. Lucas, 1838). 1945 г.:

«Исправительные меры по отношению к заключенному, избегая развращающей беспорядочности... должны быть направлены главным образом на общее и профессиональное обучение индивида и на его улучшение». Принцип пенитенциарного воспитания.

6

Тюремный режим должен, по крайней мере частично, контролироваться и руководиться специальным персоналом, который обладает моральными качествами и техническими возможностями, обеспечивающими правильное формирование индивидов. В 1850 г. Феррюс заметил по поводу тюремной медицины: «Она есть полезное дополнение для любых форм заключения... никто не располагает более полным доверием заключенных, нежели врач, никто не знает их характер лучше врача, никто не воздействует на их мысли и чувства более эффективно. В то же время врач облегчает их физические недуги и при этом выговаривает или подбадривает, исходя из собственного разумения». И в 1945 г.: «В любом пенитенциарном заведении обеспечивается социальное и медико-психологическое обслуживание». Принцип технического обеспечения заключения.

7

Заключение должно сопровождаться мерами контроля и содействия вплоть до полной реадaptации бывшего заключенного. Он должен не только находиться под надзором по освобождению из тюрьмы, но и «получать поддержку и помощь» (Буле и Бенко в Парижской палате депутатов). И в 1945 г.: «Содействие оказывается заключенным во время и после отбывания заключения с целью облегчения их социальной реабилитации». Принцип вспомогательных институтов.

Веками слово в слово повторяются одни и те же фундаментальные принципы. Всякий раз они выдают себя за наконец-то найденную, наконец-то признанную формулировку принципов реформы, которой прежде всегда недоставало. Те же самые (или почти те же самые) выражения можно почерпнуть из других «плодотворных» периодов реформы, таких, как конец XIX века, «движение за социальную защиту» или последние несколько лет, когда произошли бунты заключенных.

Итак, не следует понимать тюрьму, ее «провал» и более или менее успешную реформу как три последовательных этапа. Скорее, надо видеть в них синхронную систему, которая исторически накладывается на юридическое лишение свободы, систему, включающую в себя четыре элемента: дисциплинарное «дополнение» тюрьмы – элемент сверхвласти; производство некой объективности, техники, пенитенциарной «рациональности» – элемент вспомогательного знания; фактическое возобновление (если не усиление) преступности, которую тюрьма призвана уничтожать, – элемент обратной эффективности; наконец, повторение «реформы», которая, несмотря на ее «идеальность», изоморфна с дисциплинарным функционированием тюрьмы, – элемент утопического удвоения. Именно это сложное целое образует «систему карцера», отличающуюся от простого института тюрьмы с ее стенами, персоналом, правилами и насилием. Карцерная система соединяет в одном образе дискурсы и архитектуры, принудительные правила и научные предложения,

реальные социальные последствия и непобедимые утопии, программы исправления делинквентов и механизмы, укрепляющие делинквентность. Не является ли предполагаемый провал частью функционирования тюрьмы? Не следует ли включить его в число тех проявлений власти, которые дисциплина и дополняющая ее технология заключения ввели в аппарат правосудия и в общество в целом и которые можно объединить под названием «система карцера»? Если институт тюрьмы сохранялся столь долго и практически без изменений, если принцип уголовно-правового заключения никогда не вызывал серьезных вопросов, то это объясняется, несомненно, тем, что карцерная система пустила глубокие корни и выполняла четко определенные функции. Свидетельством его прочности является один недавний факт: образцовая тюрьма, открывшаяся в городке Флери-Мерожис в 1969 г., просто повторила в своем общем плане паноптическую звезду, привлечшую огромное внимание к тюрьме Петит-Рокет[515] в 1836 г. Все тот же старый механизм власти получил здесь реальное тело и символическую форму. Но какая роль ему отводилась?

\* \* \*

Если считать, что назначение закона – классификация правонарушений, что функция карательной машины – их сокращение и что тюрьма есть инструмент подавления правонарушений, то приходится констатировать их поражение. Или, скорее: поскольку для того, чтобы установить факт поражения в исторических терминах, потребовалось бы измерить воздействие наказания в форме заключения на общий уровень преступности, вызывает удивление, что в течение последних 150 лет провозглашение провала тюрьмы неизменно сопровождалось ее сохранением. Единственной реальной альтернативой была депортация. Великобритания отказалась от нее в начале XIX века, а Франция возобновила эту практику во время Второй Империи, но ее рассматривали скорее как суровую форму заключения вдали от родины.

Но, может быть, следует взглянуть на проблему иначе и спросить себя, чему служит провал тюрьмы; почему полезны различные явления, которые постоянно критикуют, такие, как поддержание делинквентности, поощрение рецидивизма, преобразование случайного правонарушителя в устойчивого делинквента, формирование замкнутой среды делинквентности. Пожалуй, надо выяснить, что таится за явным цинизмом карательного института, который после «очищения» заключенных посредством наказания продолжает следовать за ними шлейфом «клеймений» (надзор, некогда существовавший юридически, а ныне – фактически; полицейское досье, сменившее прежние паспорта каторжников) и преследует как «делинквента» того, кто уже оправдал себя, отбыв наказание как правонарушитель. Не следует ли видеть в этом скорее последовательность, чем противоречие? В таком случае приходится предположить, что тюрьма (и наказание вообще) имеет целью не устранение правонарушений, а скорее различение их, распределение и использование; что тюрьма и наказания не столько делают послушными тех, кто склонен нарушать закон, сколько стремятся вписать нарушение закона в общую тактику подчинения. Тогда уголовно-правовая система предстает как способ обращения с противозаконностями, установления пределов терпимости, открытия пути перед одними, оказания давления на других, исключения одной сферы, постановки на службу другой,

нейтрализации одних индивидов и извлечения пользы из других. Короче говоря, система наказания не просто «подавляет» противозаконности, она «дифференцирует» их, она обеспечивает их общую «экономия». И если можно говорить о классовом правосудии, то не только потому, что сам закон и способ его применения служат интересам определенного класса, но и потому, что дифференцированное управление противозаконностями посредством системы наказания составляет часть механизмов господства. Наказания в соответствии с законом надо рассматривать в контексте глобальной стратегии противозаконностей. Это позволит понять «провал» тюрьмы.

Общая схема уголовно-правовой реформы обрела четкие очертания в конце XVIII века в борьбе с противозаконностями: все равновесие терпимости, взаимной поддержки и интересов, которое при старом режиме обеспечивало сосуществование противозаконностей различных социальных слоев, было нарушено. Сформировалась утопия универсально и публично карательного общества, в котором непрерывно действующие механизмы наказания работали бы без промедления, посредничества или колебания, а один вдвойне идеальный закон – совершенный в своих расчетах и запечатленный в сознании каждого гражданина – в корне пресекал бы все противозаконные практики. И вот, на рубеже XVIII–XIX веков и наперекор новым кодексам появляется опасность новой народной противозаконности. Или, точнее, народные противозаконности начинают развиваться в соответствии с новыми измерениями, теми, что были введены движениями, которые с 1780-х годов до революций 1848 г. соединяли в себе социальные конфликты, борьбу против политических режимов, сопротивление наступлению индустриализации, последствия экономических кризисов. Вообще говоря, имели место три характерных процесса. Прежде всего, развитие политического измерения народных противозаконностей. Оно происходит двумя путями. Практики, ранее локализованные и в некотором смысле ограниченные собственными рамками (такие, как отказ платить налоги, ренту или нести воинскую повинность; насильственная конфискация припрятанного продовольствия; разграбление магазинов и принудительная продажа продуктов по «справедливой цене»; столкновения с представителями власти), во время Революции привели непосредственно к политической борьбе, цель которой – не просто заставить власть пойти на уступки, объявить недействительной какую-либо недопустимую меру, но смена правительства и самой структуры власти. Вместе с тем некоторые политические движения открыто опирались на существующие формы противозаконности (например, роялистские волнения на западе и юге Франции воспользовались неприятием крестьянами новых законов о собственности, религии и воинской повинности); политическое измерение противозаконности становилось все более сложным и заметным в отношениях между рабочим движением и республиканскими партиями в XIX веке, на этапе перехода от рабочей борьбы (забастовок, запрещенных коалиций, незаконных объединений) к политической революции. Во всяком случае, на горизонте этих противозаконных практик (а их становилось все больше по мере нарастания ограничительного характера законодательства) вырисовывалась борьба чисто политического характера; возможное ниспровержение власти фигурировало далеко не во всех этих движениях; но многие из них могли изменить направление и влиться в общую политическую борьбу, а порой даже прямо привести к ней.

С другой стороны, в отвержении закона или других правил нетрудно распознать борьбу против тех, кто устанавливает их в собственных интересах: люди борются теперь не против

откупщиков, финансистов, королевских наместников, недобросовестных чиновников или плохих министров – все они воплощают несправедливость, – а против самого закона и обеспечивающего его выполнение правосудия; против местных землевладельцев, вводящих новые права; против работодателей, действующих сообща, но запрещающих объединения рабочих; против предпринимателей, которые приобретают новые машины, снижают зарплату, увеличивают продолжительность рабочего дня и делают заводские распорядки все более строгими. Именно против нового режима земельной собственности – установленного буржуазией, которая нажилась на Революции, – и была направлена вся крестьянская противозаконность. Несомненно, наиболее насильственные формы она принимала в период от Термидора до Консулата, но не исчезла и впоследствии. Именно против нового режима законной эксплуатации труда были направлены рабочие противозаконности в начале XIX века: от самых буйных (уничтожение машин) и продолжительных (создание объединений) до самых повседневных, таких, как невыходы на работу, самовольное прекращение работы, бродяжничество, кража сырья, обман, связанный с количеством и качеством готовых продуктов. Целый ряд противозаконностей вписывается в борьбу, участники которой понимают, что они противостоят как закону, так и навязывающему его классу.

Наконец, если на протяжении XVIII века[516] преступность имеет тенденцию к более специализированным формам, все больше и больше отождествляясь с «профессиональной» кражей и становясь до некоторой степени делом людей, находящихся на «краях» общества, стоящих особняком от враждебного к ним населения, – то в последние годы того же столетия наблюдается восстановление старых связей или установление новых отношений. И не потому, что (как говорили современники) вожди народных восстаний были преступниками, а потому, что новые формы права, строгие правила, требования государства, землевладельцев и работодателей и чрезвычайно детализированные методы надзора увеличивали количество правонарушений и отбрасывали за пределы закона многих людей, которые в других обстоятельствах не обратились бы к специализированной преступности; именно на фоне новых законов о собственности, а также отказа нести тяжкую воинскую повинность в последние годы Революции развилась крестьянская противозаконность с последующим нарастанием насилия, актов агрессии, краж, грабежей и даже более крупных форм «политического разбоя». И именно на фоне законодательства или слишком строгих правил (связанных с расчетными книжками, платой за жилье, рабочим графиком и прогулами) развилось бродяжничество рабочих, очень часто выливавшееся в настоящую делинквентность. Целый ряд противозаконных практик, которые в предыдущем столетии существовали обособленно друг от друга, теперь, видимо, сходятся вместе и образуют новую угрозу.

На рубеже веков происходит тройное распространение народных противозаконностей (если оставить в стороне их количественный рост, который не очевиден и пока не подсчитан): внедрение их в общий политический горизонт; их явная связь с социальной борьбой; установление сообщения между различными формами и уровнями правонарушений. Эти процессы, пожалуй, не достигли полного развития; конечно, в начале XIX века еще не сформировалась массовая противозаконность, одновременно политическая и социальная. Но, несмотря на их зачаточную форму и рассредоточенность, эти процессы были достаточно заметны и послужили причиной великого страха перед плебсом (в целом считавшимся

преступным и мятежным), причиной мифа о варварском, аморальном и незаконном классе, мифа, который от Империи до Июльской монархии преследовал дискурс законодателей, филантропов и исследователей жизни рабочего класса. Именно эти процессы скрываются за целым рядом утверждений, совершенно чуждых уголовно-правовой теории XVIII века. О том, что преступление – не некая склонность, вписанная в сердце каждого человека и выражающаяся в стремлении к извлечению выгоды или в страстях, а почти исключительно удел определенного общественного класса. Что преступники, встречавшиеся некогда во всех общественных классах, теперь выходят «почти все из нижнего ряда общественного порядка»[517]. Что «девять десятых убийц, воров и негодяев происходят из так называемого социального дна»[518]. Что не преступление отчуждает человека от общества, но оно само вызывается тем обстоятельством, что человек в обществе как чужой, что он принадлежит к «выродившемуся племени», как говорил Тарже, к тому «испорченному нищетой классу, чьи пороки подобны непреодолимому препятствию перед благородными намерениями, стремящимися его сокрушить»[519]. Что раз так, то было бы лицемерно и наивно думать, будто закон установлен для всех и ради всех. Что разумнее было бы признать, что он создан для немногих и введен для того, чтобы нажимать на других. Что в принципе он обязателен для всех граждан, но распространяется главным образом на самые многочисленные и наименее образованные классы. Что, в отличие от политических или гражданских законов, уголовные законы не применяются ко всем равным образом[520]. Что в судах не общество в целом судит своего члена, а одна общественная категория, заинтересованная в порядке, судит другую, преданную беспорядку: «Посетите места, где судят, заточают, убивают... Поражает одно обстоятельство: везде вы увидите два совершенно различных класса людей, один из которых всегда восседает в креслах обвинителей и судей, а другой занимает скамью подсудимых». Это объясняется тем фактом, что последние, не имея достаточных средств и образования, не умеют «удержаться в рамках правовой честности»[521]. Так что даже язык закона, который считается универсальным, в этом отношении неадекватен. Для того чтобы быть эффективным, он должен быть обращением одного класса к другому, привыкшему к другим мыслям и даже словам: «Как нам, с нашим притворно добродетельным, пренебрежительным, отягощенным формальностями языком быть понятными для тех, кто слышал одно только грубое, бедное, неправильное, но живое, искреннее и сочное просторечье рынков, кабаков и ярмарок... Какой язык, какой метод надо применить при составлении законов, чтобы эффективно воздействовать на необразованный ум тех, кто чаще уступает соблазну преступления?»[522] Закон и правосудие не колеблясь провозглашают свою неизбежную классовую несимметричность.

Если так, то тюрьма, якобы «терпя поражение», на самом деле не бьет мимо цели. Напротив, она попадает в цель, поскольку вызывает к жизни одну особую форму противозаконности среди прочих, противозаконность, которую она способна вычленишь, выставить в полном свете и организовать как относительно замкнутую, но проницаемую среду. Тюрьма способствует установлению видимой, открытой, заметной противозаконности, неустранимой на определенном уровне и втайне полезной, одновременно строптивой и послушной. Она обрисовывает, изолирует и выявляет одну форму противозаконности, как бы символически резюмирующую все прочие ее формы, позволяя оставить в тени те, которые общество хочет – или вынуждено – терпеть. Эта форма есть, строго говоря, делинквентность. Не надо усматривать в делинквентности

самую интенсивную, самую вредную форму противозаконности, форму, которую уголовно-правовая машина должна пытаться устранить посредством тюремного заключения по причине ее опасности; скорее, она – проявление и следствие системы исполнения наказания (в частности, заключения), позволяющей дифференцировать, приспособлять и контролировать противозаконности. Несомненно, делинквентность – одна из форм противозаконности; конечно, она коренится в противозаконности; но она представляет собой противозаконность, которую «система карцера» со всеми ее разветвлениями захватила, фрагментировала, изолировала, пропитала собой, организовала и замкнула в определенной среде, придав ей инструментальную роль по отношению к другим противозаконностям. Словом, юридическая оппозиция противопоставляет законность и противозаконную практику, а стратегическая оппозиция – противозаконности и делинквентность.

Утверждение о том, что тюрьме не удалось уменьшить число преступлений, следует заменить, пожалуй, следующей гипотезой: тюрьма вполне преуспела в производстве делинквентности, особого типа, политически и экономически менее опасной – а иногда и полезной – формы противозаконности; в производстве делинквентов, казалось бы маргинальной, но на самом деле централизованно контролируемой среды; в производстве делинквента как патологического субъекта. Успех тюрьмы в борьбе вокруг закона и противозаконностей состоит в том, что она устанавливает «делинквентность». Мы видели, как система карцера заменила правонарушителя «делинквентом», а также «пришпилила» к судебной практике весь горизонт возможного знания. И этот процесс, что создает делинквентность в качестве объекта, составляет одно целое с политической операцией, которая разъединяет противозаконности и отделяет от них делинквентность. Тюрьма – шарнир, соединяющий эти два механизма; она позволяет им непрерывно усиливать друг друга, объективировать позади правонарушения делинквентность, укреплять делинквентность в движении противозаконностей. Успех тюрьмы настолько велик, что и через полтора века «провалов» тюрьма продолжает существовать, производя те же результаты, и мы испытываем сильнейшие угрызения совести, когда пытаемся ее низвергнуть.

\* \* \*

Наказание в форме заключения производит – отсюда, несомненно, его долговечность – замкнутую, отделенную и полезную противозаконность. Циркуляция делинквентности, видимо, не является побочным продуктом тюрьмы, которая, наказывая, не преуспевает в исправлении; скорее, она – прямое следствие уголовно-исполнительной системы, которая, для того чтобы управлять противозаконными практиками, вовлекает некоторые из них в механизм «наказание-воспроизведение», где заключение – одна из основных деталей. Но почему и как тюрьма участвует в производстве делинквентности, с которой она призвана бороться?

Формирование делинквентности, образующей своего рода замкнутую противозаконность, в действительности имеет ряд преимуществ. Прежде всего, ее можно контролировать (посредством отслеживания людей, внедрения в группы, организации взаимного

доносительства): ведь вместо колеблющейся, беспорядочной массы населения, от случая к случаю совершающей противозаконности (грозящие распространиться), или численно размытых шаек бродяг, что захватывают в свои ряды, в скитаниях с места на место и в различных обстоятельствах, безработных, нищих, уклоняющихся от воинской повинности и иногда разрастаются (как это произошло в конце XVIII века) до такой степени, что становятся грозной силой, чинящей грабежи и смуты, – вместо них образуется довольно небольшая и замкнутая группа индивидов, которых удобно держать под постоянным надзором. Кроме того, поглощенную собой делинквентность можно направить в русло менее опасных форм противозаконности: удерживаемые под давлением контроля на краях общества, обреченные на жалкие условия существования, не имеющие связей с населением, которое могло бы их поддержать (как бывало некогда с контрабандистами или некоторыми формами бандитизма[523]), делинквенты неизбежно отступают к локализованной преступности, не пользующейся особой поддержкой населения, политически безвредной и экономически ничтожной. И эта сосредоточенная, контролируемая и обезоруженная противозаконность безусловно полезна. Она может быть полезна по отношению к другим противозаконностям: изолированная от них, обращенная на собственные внутренние организации, ориентированная на насильственные преступления, первыми жертвами которых часто оказываются бедные классы, зажатая со всех сторон полицией, получающая большие сроки с последующей неизменно «специализированной» жизнью, делинквентность – этот чужой, опасный и часто враждебный мир – блокирует или по крайней мере удерживает на довольно низком уровне обычные противозаконные практики (мелкие кражи и насилия, повседневные нарушения закона); она не дает им принять более широкие, более очевидные формы, словно действенность примера, ожидаемую некогда от зрелищных публичных казней, теперь ищут не столько в строгости наказаний, сколько в зримом, заметном существовании самой делинквентности: отличая себя от других распространенных противозаконностей, делинквентность служит их обузданию.

Но делинквентность допускает также и другое непосредственное применение. Приходит на ум пример колонизации. Однако это не самый убедительный пример. Действительно, хотя в период Реставрации и Палата депутатов, и генеральные советы многократно требовали высылки преступников, они хотели, в сущности, облегчить финансовые тяготы, связанные с содержанием аппарата заключения. И несмотря на все проекты, выдвинутые при Июльской монархии и предполагающие возможность участия делинквентов, недисциплинированных солдат, проституток и сирот в колонизации Алжира, закон 1854 г. формально исключил эту колонию из числа колониальных каторг; фактически, высылка в Гвиану или позднее в Новую Каледонию не имела реального экономического значения, несмотря на то что осужденных обязывали оставаться в колонии, где они отбыли наказание, количество лет, равное отбытому сроку (а в некоторых случаях – всю оставшуюся жизнь)[524]. По сути дела, использование делинквентности как среды одновременно обособленной и управляемой имело место главным образом на краях законности. Иными словами, в XIX веке создается также своего рода подчиненная противозаконность, организация которой как делинквентности, со всем вытекающим отсюда надзором, обеспечивает гарантированное послушание. Делинквентность, укрощенная противозаконность, есть агент противозаконности господствующих групп. В этом плане характерна организация сетей проституции в XIX веке[525]: постоянный полицейский контроль за здоровьем проституток, регулярное заключение их в тюрьму, крупномасштабное устройство домов терпимости,



четкая иерархия, поддерживавшаяся в среде проституции, контролирование ее осведомителями из числа делинквентов – все это позволяло направлять ее в нужное русло и получать благодаря целому ряду посредников огромные прибыли от сексуального удовольствия, которое все более настойчивое повседневное морализирование обрекало на полуподпольное существование и, естественно, делало дорогим; устанавливая цену удовольствия, прибыль с подавленной сексуальности и получая эту прибыль, среда делинквентности действовала заодно с корыстным пуританством: как незаконный сборщик налогов с противозаконных практик[526]. Торговля оружием, нелегальная продажа спиртных напитков в страны, где действует «сухой закон», и, ближе к нам, торговля наркотиками – тоже род этой «полезной делинквентности»: существование законного запрета создает поле противозаконных практик, и его можно контролировать, извлекая из него незаконную прибыль, посредством элементов, которые сами по себе противозаконны, но сделались управляемыми благодаря их организации как делинквентности. Эта организация есть инструмент для управления противозаконностями и их эксплуатации.

Она является также инструментом противозаконности, которой окружает себя само отправление власти. Политическое использование делинквентов – как осведомителей и провокаторов – было широко распространено задолго до XIX века[527]. Но после Революции эта практика приобрела совсем другой масштаб: внедрение в политические партии и рабочие объединения, вербовка головорезов для борьбы с забастовщиками и бунтовщиками, организация специальной полиции – действовавшей в прямой связи с легальной полицией и способной, если потребуется, стать своего рода параллельной армией, – вся внеправовая деятельность власти обеспечивалась отчасти массой подручных, образованной делинквентами: тайной полицией и резервной армией власти. Видимо, во Франции эти практики получили полное развитие в эпоху Революции 1848 г. и с захватом власти Луи-Наполеоном[528]. Таким образом, делинквентность – опирающаяся на систему наказания, сосредоточенную вокруг тюрьмы, – представляет собой отвод противозаконности в незаконное круговращение прибыли и власти господствующего класса.

Организация обособленной противозаконности, замкнутой делинквентности, была бы невозможна без развития полицейского надзора. Общий надзор за населением, бдительность – «немая, таинственная, неуловимая... око правительства, всегда открытое и следящее за всеми гражданами без различия, но не подвергающее их никакому принуждению... Незачем вписывать его в закон»[529]. Надзор за конкретными индивидами, предусмотренный кодексом 1810 г., за бывшими осужденными и всеми людьми, представшими перед судом по серьезному обвинению и признанными представляющими новую угрозу общественному покою. Но и надзор за кругами и группами, опасными с точки зрения осведомителей, которые почти все являлись бывшими делинквентами и как таковые подлежали полицейскому надзору: делинквентность, один из объектов полицейского надзора, служит также одним из его излюбленных инструментов. Все эти виды надзора предполагают организацию иерархии, частично официальной, частично тайной (в парижской полиции последнюю представляла главным образом «служба безопасности», включавшая в себя, помимо «открытых агентов» – инспекторов и капралов, – «тайных агентов» и осведомителей, движимых страхом перед наказанием или желанием получить вознаграждение)[530]. Они предполагают также создание системы документации, главная задача которой – выявление и идентификация преступников: обязательное описание

преступника прилагается к ордерам на арест и постановлениям судов присяжных, описание заносится в тюремные реестры, копии реестров судов присяжных и судов упрощенного производства каждые три месяца отправляются в министерства юстиции и генеральной полиции; несколько позже в министерстве внутренних дел создаются организованные в алфавитном порядке «картотеки правонарушителей», где резюмируются вышеупомянутые реестры; приблизительно в 1833 г., по аналогии с методом «натуралистов, библиотекарей, купцов, дельцов», начинают использовать систему карточек или индивидуальных бюллетеней, позволяющих без труда добавлять новые данные и в то же время находить по фамилии разыскиваемого преступника все относящиеся к нему сведения[531].

Делинквентность – поставляя тайных агентов, а также обеспечивая повсеместное проникновение полиции – является инструментом постоянного надзора за населением: аппаратом, позволяющим контролировать посредством самих делинквентов все общественное поле. Делинквентность действует как политическая обсерватория. В свою очередь, много позднее чем полиция, ее стали использовать статистики и социологи.

Но такой надзор мог осуществляться лишь в соединении с тюрьмой. Ведь тюрьма облегчает надзор за индивидами, когда они выходят на свободу: она позволяет вербовать осведомителей и умножает число взаимных доносов, способствует взаимным контактам правонарушителей, ускоряет организацию среды делинквентов, замкнутой на самой себе, но легко контролируемой; и все следствия того, что бывший заключенный не получает обратно свои права (безработица, запрет на проживание, вынужденное проживание в установленных местах, необходимость отмечаться в полиции), позволяют без труда принудить его к выполнению определенных задач. Тюрьма и полиция образуют парный механизм; вместе они обеспечивают во всем поле противозаконностей дифференциацию, отделение и использование делинквентности. Система полиция – тюрьма выкраивает из противозаконностей «ручную» делинквентность. Делинквентность, со всей ее спецификой, является результатом этой системы, но становится также ее колесиком и инструментом. Итак, следует говорить об ансамбле, три элемента которого (полиция, тюрьма, делинквентность) поддерживают друг друга и образуют непрерывное круговращение. Полицейский надзор поставляет тюрьме правонарушителей, тюрьма преобразует их в делинквентов, которые являются предметом и помощниками полицейского надзора, регулярно возвращающего некоторых из них в тюрьму.

Никакое уголовное правосудие не преследует всех противозаконных практик; иначе, используя полицию в качестве помощника, а тюрьму – как инструмент наказания, оно не оставляло бы неассимилируемого осадка «делинквентности». Уголовное правосудие следует рассматривать, скорее, как инструмент дифференцирующего контроля над противозаконностями. В этом отношении уголовное правосудие играет роль правового гаранта и принципа передачи. Оно – «переключатель» в общей экономике противозаконностей, другими элементами которой (не подчиненными правосудию, но равными ему) являются полиция, тюрьма и делинквентность. Посягновение полиции на правосудие и сила инерции, противопоставляемая правосудию тюремным институтом, – не новость, но и не следствие склероза или постепенного смещения власти; это структурное качество, характеризующее механизмы наказания в современных обществах. Юристы и судьи могут говорить что угодно, но уголовное правосудие со всем его зрелищным аппаратом призвано удовлетворять повседневные запросы машины надзора, наполовину

погруженной в тень, где происходит сцепление полиции и делинквентности. Судьи – служащие надзора[532], причем не очень строптивые. Насколько могут, они способствуют образованию делинквентности, т. е. дифференциации противозаконностей, контролю, подчинению и использованию некоторых из этих противозаконностей противозаконностью господствующего класса.

Об этом процессе, происходившем в первые тридцать-сорок лет XIX столетия, свидетельствуют два персонажа. Прежде всего, Видок[533]. Он был человеком старых противозаконностей[534], Жилем Блазом[535] на другом конце века. Но Видок быстро скатился к худшему: неуживчивости, авантюрам, надувательствам (обычно он сам и оказывался их жертвой), дракам и дуэлям. Он много раз вербовался в армию и дезертировал, имел дело с проституцией, картами, карманными кражами, а затем и вооруженным разбоем. Но почти мифическое значение Видока в глазах современников объясняется не этим его, возможно приукрашенным, прошлым и даже не тем фактом, что впервые в истории бывший каторжник, искупивший свою вину или просто откупившийся, стал префектом полиции, а скорее тем, что в его лице делинквентность ясно обнаружила свой двусмысленный статус как объекта и инструмента полицейской машины, действующей против нее и заодно с ней. Видок знаменует собой момент, когда делинквентность, отделенная от прочих противозаконностей, захватывается властью и обращается на самое себя. Тогда-то и происходит прямое и институциональное спаривание полиции и делинквентности: тревожный момент, когда делинквентность становится одним из винтиков власти. В прежние времена неотступным кошмаром был образ короля-чудовища – который являлся источником всякого правосудия, однако же был запятнан преступлениями. Теперь возникает другой страх: страх перед темным, тайным сговором между теми, кто отстаивает закон, и теми, кто нарушает его. Шекспировский век, когда верховная власть и низость соединялись в одном лице, ушел в прошлое; вскоре должна была начаться повседневная мелодрама полицейской власти и сообщничества между преступлением и властью.

Противоположностью Видока является его современник Ласенер. Его навеки гарантированное место в раю эстетов преступления просто поражает: ведь при всем желании, при всем рвении неопита он совершил, да и то весьма неумело, лишь несколько мелких преступлений. Поскольку сокамерники серьезно подозревали в нем «наседку» и хотели его убить[536], администрация тюрьмы Форс[537] вынуждена была встать на его защиту, и высший свет Парижа времен Людовика-Филиппа перед казнью устроил в его честь такой праздник, по сравнению с которым последующие литературные воскрешения выглядят разве что академической данью. Своей славой он не обязан ни размаху своих преступлений, ни искусному замыслу; поражает как раз их безыскусность. В огромной степени слава Ласенера объясняется видимой игрой – в его действиях и словах – противозаконности и делинквентности. Мошенничество, дезертирство, мелкие кражи, тюремное заключение, возобновление завязавшихся в тюрьме дружеских связей, взаимный шантаж, рецидивизм, вплоть до последней, неудачной попытки убийства, – все это обнаруживает в Ласенере типичного делинквента. Но он заключал в себе, по крайней мере потенциально, горизонт противозаконностей, которые до недавнего времени представляли угрозу: этот разорившийся мещанин, получивший образование в хорошем коллеже, хорошо говоривший и писавший, поколением раньше был бы революционером, якобинцем,

цареубийцей[538]; будь он современником Робеспьера, его отрицание закона приняло бы непосредственно историческую форму. Он родился в 1800 г., примерно в то же время, что и Жюльен Сорель[539], в его характере можно различить те же задатки; но они нашли выражение в краже, убийстве и доносителе. Все они вылились в совершенно тривиальную делинквентность: в этом смысле Ласенер – персонаж успокаивающий. Если они и напоминают о себе, то лишь в его теоретизировании о преступлениях. В момент смерти Ласенер демонстрирует торжество делинквентности над противозаконностью, или, скорее, образ противозаконности, которая, с одной стороны, втянута в делинквентность, а с другой – смещена в сторону эстетики преступления, т. е. искусства привилегированных классов. Различима симметрия между Ласенером и Видоком, которые в одну и ту же эпоху сделали возможным обращение делинквентности на самое себя, конституировав ее как замкнутую и контролируемую среду и сместив к полицейским методам всю практику делинквентности, становившейся законной противозаконностью власти. Что парижская буржуазия чувствовала Ласенера, что его камера была открыта для знаменитых посетителей, что в последние дни жизни его осыпали похвалами (его, чьей смерти простые заключенные тюрьмы Форс требовали раньше, чем судьи, его, сделавшего в суде все возможное, чтобы возвести на эшафот своего сообщника Франсуа), – все это имело объяснение: ведь в его лице превозносили символический образ противозаконности, удерживаемой в рамках делинквентности и преобразованной в дискурс, т. е. ставшей вдвойне безопасной; буржуазия придумала для себя новое удовольствие, которым пока еще отнюдь не пресытилась. Не надо забывать, что знаменитая смерть Ласенера заглушила шум вокруг покушения Фиески, одного из последних цареубийц, воплощавшего противоположный образ мелкой преступности, приводящей к политическому насилию. Не надо забывать, что Ласенер был казнен за несколько месяцев до ухода последней цепи каторжников, сопровождавшегося скандальными событиями. Эти два празднества пересеклись исторически. Действительно, Франсуа, сообщник Ласенера, был одним из самых известных персонажей цепи, покидавшей Париж 19 июля[540]. Одно из празднеств продолжало старые ритуалы публичных казней, рискуя воскресить народные противозаконности, чинимые вокруг преступников. Оно должно было быть запрещено, поскольку преступник отныне должен был занимать лишь то пространство, что отводится для делинквентности. Другое – начинало теоретическую игру противозаконности привилегированных; скорее, оно знаменовало момент, когда политические и экономические противозаконности, практиковавшиеся буржуазией, были дублированы их теоретическим и эстетическим выражением: «Метафизика преступления» – термин, часто связываемый с Ласенером; «Убийство как одно из изящных искусств» было опубликовано в 1849 г.[541]

\* \* \*

Производство делинквентности и захват ее карательным аппаратом следует понимать правильно: не как результаты, достигнутые раз и навсегда, а как тактики, которые изменяются в зависимости от того, насколько они приблизились к своей цели. Разрыв между делинквентностью и другими противозаконностями, то, как она отворачивается от них, ее подчинение господствующими противозаконностями – все это четко проявляется в способе действия системы полиция – тюрьма; однако все это всегда сталкивалось с сопротивлением,

вызывало борьбу и ответные действия. Возведение барьера, отделяющего делинквентов от всех тех низших слоев населения, из которых они вышли и с которыми сохраняют связь, было трудной задачей, особенно, несомненно, в городской среде[542]. Над ней долго и упорно трудились. Ее решение потребовало применения общих методов «морального вразумления» бедных классов, которое, кроме того, имело решающее значение как с экономической, так и с политической точки зрения (имеется в виду формирование, так сказать, «базового правового сознания», необходимого с того времени, когда на смену обычаю пришел свод законов; обучение элементарным правилам отношения к собственности и бережливости, дисциплине труда; выработка навыка оседлой жизни и сохранения стабильной семьи и т. д.) Более специфические методы были применены для того, чтобы укрепить враждебность народных слоев по отношению к делинквентам (использование бывших заключенных в качестве осведомителей, шпионов, штрейкбрехеров и головорезов). Систематически смешивали нарушения общего права с нарушениями неповоротливого законодательства о расчетных книжках, забастовках, коалициях, ассоциациях[543], для которых рабочие требовали политического статуса. Акции рабочих регулярно обвиняли в том, что они вдохновлены, если не руководимы обыкновенными преступниками[544]. Приговоры часто обнаруживали большую строгость по отношению к рабочим, нежели к ворам[545]. В тюрьмах эти две категории заключенных смешивались, причем лучше обращались с нарушителями общего права, а заключенные журналисты и политики обычно содержались отдельно. Словом, налицо целая тактика смешения, нацеленная на поддержание постоянного состояния конфликта.

К этому добавлялось продолжительное предприятие, призванное накинуть на обычное восприятие делинквентов совершенно определенную сетку: представить их как находящихся рядом, как вездесущих и повсюду опасных. Такова была функция рубрики «хроника происшествий», которая получила огромное место в части прессы и под которую стали отводить целые газеты[546]. Хроника криминальных происшествий благодаря ее ежедневной избыточности делает привычной систему судебного и полицейского надзора, разбивающую общество на ячейки; изо дня в день она повествует о своего рода внутренней войне с безликим врагом; в этой войне она выступает как ежедневная сводка, сообщающая об опасности или победе. Криминальный роман, который начал публиковаться в газетах и дешевой массовой литературе, играет вроде бы противоположную роль. Его функция состоит, главным образом, в том, чтобы показать, что делинквент принадлежит к совершенно другому миру, далекому от привычной повседневной жизни. Этот чуждый мир сначала – дно общества («Парижские тайны», Рокамболь[547]), затем – сумасшествие (особенно во второй половине века), наконец – преступление в высшем обществе (Арсен Люпэн[548]). Соединение хроники происшествий с детективным романом произвело за последние сто или более лет массу «историй о преступлениях», где делинквентность предстает сразу очень близкой и совершенно чуждой, постоянной угрозой для повседневной жизни, но крайне далекой по своему происхождению и мотивам от той среды, в которой она имеет место как обычная и экзотическая одновременно. Придаваемое делинквентности значение и окружающий ее избыточный дискурс очерчивают вокруг нее линию, которая возвышает ее и ставит на особое место. Какая противозаконность могла узнать себя в столь страшной делинквентности, имеющей столь чуждое происхождение?..

Эта многообразная тактика принесла плоды, что доказывают кампании народных газет против труда заключенных[549], против «тюремного комфорта», за выполнение заключенными самой тяжелой и опасной работы, против чрезмерного интереса филантропов к преступникам, против литературы, возвышающей преступление[550]; это подтверждает и общее недоверие, присущее всему рабочему движению, к бывшим осужденным по нормам общего права. «На заре XX века, – пишет Мишель Пэрро, – окруженная высочайшей из всех стен – презрением, тюрьма наконец замыкается вокруг бесславного племени»[551].

Однако эта тактика отнюдь не восторжествовала и не привела к полному разрыву между делинквентами и низшими слоями. Отношения между беднейшими классами и правонарушением, взаимоположение пролетариата и городской черни требуют изучения. Но ясно одно: делинквентность и подавление рассматривались в рабочих движениях 1830–1850 гг. как важная проблема. Несомненно, имела место враждебность по отношению к делинквентам; но и борьба вокруг системы наказания. Политический анализ преступности, предлагаемый народными газетами, часто буквально во всем противоречит характеристике, даваемой филантропами (бедность – распутство – леность – пьянство – порок – кража – преступление). Источник делинквентности такие газеты усматривают не в преступном индивиде (который является просто поводом или первой жертвой), а в обществе: «Человек, убивающий вас, не волен не убивать. Ответственность за убийство несет общество или, вернее, дурная организация общества»[552]. Или потому, что общество не способно удовлетворить его важнейшие потребности, или потому, что оно уничтожает или искореняет в нем задатки, чаяния и нужды, которые впоследствии напоминают о себе в преступлении: «Плохое образование, не нашедшие применения способности и силы, ум и душа, подавленные вынужденным трудом в слишком нежном возрасте»[553] Но эта преступность, порожденная нуждой или подавлением, скрывает за вниманием к себе и вызываемым ею неодобрением другую преступность, которая иногда является ее причиной и всегда – продолжением. Это делинквентность наверху, скандальный пример, источник нищеты и толчок к бунту для бедных. «В то время как нищета усеивает ваши мостовые трупами и наполняет ваши тюрьмы ворами и убийцами, где же мошенники из высшего света?.. Самые развращающие примеры, самый возмутительный цинизм, самый наглый разбой... Не боитесь ли вы, что бедняк, которого сажают на скамью подсудимых за кусок хлеба, схваченный с прилавка булочника, однажды возмутится и не оставит камня на камне от Биржи, дикого вертепа, где безнаказанно растаскивают государственные сокровища и семейные состояния?»[554] Но к делинквентности богатых законы терпимы, а когда дело доходит до суда, они могут рассчитывать на снисходительность судей и сдержанность прессы[555]. Отсюда идея, что уголовные процессы могут стать поводом для политического диспута, что надо пользоваться спорными процессами или судебными делами, возбужденными против рабочих, для изобличения деятельности уголовного правосудия: «Отныне суды – уже не таковы, как прежде, уже не место, где обнажаются нищета и язвы нашей эпохи, не род клеймения, ставящего в один ряд несчастных жертв общественного беспорядка. Они – арена, оглашаемая воинственными кличами»[556]. Отсюда также идея, что политические заключенные – поскольку они, как и делинквенты, знакомы с системой наказания на собственном опыте, но, в отличие от последних, могут быть услышаны – должны быть глашатаями всех заключенных. Именно они должны просветить «почтенного французского буржуа, который не имеет представления о наказаниях, налагаемых после

помпезных обвинительных речей генерального прокурора»[557].

Для этой переоценки уголовного правосудия и границы, заботливо очерчиваемой им вокруг делинквентности, характерна тактика, которую можно назвать «контр“ хроникой происшествий”». Так, рабочие газеты стремятся представить преступления и судебные процессы совсем иначе, нежели те, что, подобно «Gazette des tribunaux», «наливаются кровью», «питаются тюрьмой» и обеспечивают ежедневный «мелодраматический репертуар»[558]. «Контр“ хроника происшествий”» систематически подчеркивает факты делинквентности в буржуазной среде и показывает, что именно буржуазия – класс, пораженный «физическим вырождением» и «моральным разложением»; рассказы о преступлениях, совершенных простолюдными, она заменяет описанием нищеты, в какую ввергают простых людей эксплуататоры их труда, которые буквально морят их голодом и убивают[559]; она показывает, какая доля ответственности в уголовных процессах против рабочих должна быть перенесена на работодателей и общество в целом. Короче говоря, конечная цель состоит в том, чтобы опрокинуть монотонный дискурс о преступлении, стремящийся обособить преступление как уродство и переложить вину на беднейший класс.

В полемике против уголовно-правовой системы фурийеры, несомненно, пошли дальше других. Пожалуй, они первыми выработали политическую теорию, которая в то же время показывает позитивное значение преступления. Хотя преступление, по их мнению, есть результат «цивилизации», оно (благодаря самому этому факту) является и оружием против нее. В нем заложена сила и посул. «Социальный порядок, над которым властвует неизбежность его репрессивного принципа, продолжает убивать с помощью палача или тюрем тех, чей прирожденно твердый нрав отвергает его предписания или пренебрегает ими, кто слишком силен, чтобы оставаться в тугих пеленках, кто вырывается и рвет их в клочья, людей, которые не желают оставаться детьми»[560]. Стало быть, нет преступной природы, а есть столкновение сил, которое в зависимости от класса, к которому принадлежат индивиды[561], приводит их во власть или в тюрьму: нынешние судьи, родись они бедными, были бы каторжниками; каторжники же, будь они благородного происхождения, «заседали бы в судах и вершили правосудие»[562]. В конечном счете, существование преступления счастливо демонстрирует «несгибаемость человеческой природы». В преступлении следует видеть не слабость или болезнь, а бурлящую энергию, «взрыв протеста во имя человеческой индивидуальности», что, несомненно, объясняет странную чарующую силу преступления. «Если бы не преступление, пробуждающее в нас множество онемелых чувств и полугасших страстей, мы бы куда дольше оставались несобранными, так сказать расслабленными»[563]. А значит, преступление является, возможно, политическим инструментом, который может оказаться столь же полезным для освобождения нашего общества, сколь и для освобождения негров; действительно, разве последнее произошло бы без преступления? «Отравления, поджоги, а порой и бунт свидетельствуют о кричащей бедственности социального положения»[564]. Заключение? – «Самая несчастная и самая угнетенная часть человечества». «La Phalange» иногда принимала современную эстетику преступления, но имела при этом совершенно другую цель.

Отсюда – использование хроники происшествий, с тем чтобы не просто вернуть противнику упрек в аморальности, но и выявить борьбу противоположных сил. «La Phalange»

рассматривает уголовные дела как столкновение, запрограммированное «цивилизацией», крупные преступления – не как чудовищные деяния, но как неизбежный возврат и восстание подавленного[565], а мелкие противозаконности – не как неустрашимые края общества, а как гул, доносящийся с самого поля боя.

Обратимся теперь, после Видока и Ласенера, к третьему персонажу. Он сделал всего один краткий выход; его известность вряд ли продержалась более одного дня. Он был лишь мимолетным образом мелких противозаконностей: тринадцатилетний мальчуган без крова и семьи, обвиненный в бродяжничестве. Приговоренный к двум годам исправительной колонии, он, несомненно, надолго попал в круговорот делинквентности. Конечно, он остался бы незамеченным, если бы не противопоставил дискурсу закона, сделавшего его делинквентом (больше даже во имя дисциплин, чем в соответствии с кодексом), дискурс противозаконности, которая устояла перед принуждениями и обнаружила недисциплинированность, существующую систематически двусмысленным способом – как беспорядочное устройство общества и как утверждение непреложных прав. Все противозаконности, расцененные судом как правонарушения, обвиняемый переформулировал как утверждение жизненной силы: отсутствие жилья – как бродяжничество, отсутствие хозяина – как независимость, отсутствие работы – как свободу, отсутствие организованного и регулярного труда – как полноту дней и ночей. Это столкновение противозаконности с системой «дисциплина – наказание – делинквентность» было воспринято современниками (точнее, оказавшимся в суде журналистом) как комическое проявление схватки уголовного закона с мелкими фактами недисциплинированности. И действительно, само дело и последовавший приговор представляли сердцевину проблемы законного наказания в XIX веке. Ирония, с какой судья пытается окружить недисциплинированность величием закона, и дерзость, с какой обвиняемый возвращает ее в число фундаментальных прав человека, создают показательную сцену для уголовного правосудия.

Поэтому ценен отчет, появившийся в «Gazette des tribunaux»[566]: «Председатель: Спать надо дома. – Беас: А у меня есть дом? – Вы постоянно бродяжничаете. – Я тружусь, чтобы заработать на жизнь. – Ваше общественное положение? – Мое общественное положение. Начать с того, что их у меня не меньше тридцати шести. Я ни на кого не работаю. Я давно уже делаю что подвернется. У меня днем одно положение, ночью – другое. Днем, например, я раздаю рекламки всем прохожим, гоняюсь за прибывшими дилижансами и переносу багаж пассажиров, хожу колесом по авеню Нейи[567]. Ночью спектакли, я распаиваю дверцы карет, продаю билеты. У меня много дел. – Лучше бы вы поступили учеником в хороший дом. – Вот еще! Хороший дом, ученичество – тоска зеленая. И потом хозяин... вечно ворчит, никакой свободы. – Ваш отец не зовет вас домой? – Нет у меня отца. – А ваша мать? – Нет у меня ни матери, ни родственников, ни друзей. Я свободен и независим». Услышав приговор – два года исправительной колонии, – Беас «скорчил мерзкую мину, а потом вернулся в свое обычное хорошее настроение: “Два года, никак не больше двадцати четырех месяцев. Ну, в путь”».

Именно эту сцену перепечатала «La Phalange». И значение, придаваемое ей газетой, чрезвычайно неторопливый, тщательный ее разбор показывают, что фурьеристы усматривали в столь обычном деле игру фундаментальных сил. С одной стороны, силы



«цивилизации», олицетворяемой судьей – «живой законностью, духом и буквой закона». Она обладает собственной системой принуждения; по видимости это свод законов, на деле же – дисциплина. Необходимо иметь место, локализацию, принудительное «прикрепление». «Надо спать дома», – говорит судья, поскольку, по его мнению, все должны иметь дом, жилище, будь то роскошное или жалкое; задача судьи – не обеспечить жильем, но заставить каждого индивида жить дома. Кроме того, индивид должен иметь положение, узнаваемую идентичность, раз и навсегда установленную индивидуальность. «Ваше общественное положение? – Этот вопрос – простейшее выражение порядка, утвердившегося в обществе. Бродяжничество ему отвратительно, оно дестабилизирует его. Необходимо иметь прочное, постоянное общественное положение, думать о будущем, о безопасном будущем, о том, чтобы гарантировать его от любого посягательства». Наконец, надлежит иметь хозяина, занимать определенное место на иерархической лестнице. Человек существует, только когда он вписан в определенные отношения господства. «У кого вы работаете? Иными словами, раз вы не хозяин, то должны быть слугой. Дело не в вашей индивидуальной удовлетворенности, а в необходимости поддерживать порядок». Дисциплине в облике закона противостоит именно противозаконность, предъявляющая себя как право; не столько уголовное правонарушение, сколько недисциплинированность является причиной образования бреши. Недисциплинированность языка: неправильная грамматика и тон реплик «указывают на резкий раскол между обвиняемым и обществом, которое в лице председателя суда обращается к нему в корректной форме». Недисциплинированность, вызываемая врожденной, непосредственной свободой: «Он прекрасно понимает, что подмастерье, рабочий – раб, а рабство плачевно... Он прекрасно понимает, что уже не сможет наслаждаться этой свободой, этой владеющей им потребностью движения в устоявшемся порядке жизни... Он предпочитает свободу, и важно ли, что другие считают ее беспорядком? Свободу, иными словами – спонтанное развитие индивидуальности, “дикое” развитие, а значит, грубое и недалекое, но естественное и инстинктивное». Недисциплинированность в семейных отношениях: не имеет значения, был ли этот несчастный ребенок брошен или убежал сам, потому что он «не смог бы вынести рабство воспитания, родительского или иного». И во всех этих мелких недисциплинированностях в конечном счете отвергается «цивилизация» и пробивает себе путь «дикость»: «Работа, лень, беззаботность, распутство, все что угодно, только не порядок; в чем бы ни заключались занятия и распутство, это жизнь дикаря, живущего одним днем и не думающего о будущем»[568].

Несомненно, анализы в «La Phalange» не могут рассматриваться как типичные для тогдашних дискуссий о преступлении и наказании в массовых газетах. Тем не менее они принадлежат к контексту этой полемики. Уроки фурьеристов не прошли втуне. Они получили отклик, когда во второй половине XIX века анархисты, избрав своей мишенью уголовно-правовую машину, поставили политическую проблему делинквентности; когда они желали видеть в ней самое боевое отвержение закона; когда они пытались не столько возвеличить бунт делинквентов как геройство, сколько отделить делинквентность от захвативших ее буржуазной законности и противозаконности; когда они хотели восстановить или создать политическое единство народных противозаконностей.